

Геннадий Разумов

от 7 до 70

Геннадий Разумов

От 7 до 70

«Автор»

Разумов Г. А.

От 7 до 70 / Г. А. Разумов — «Автор»,

Эту книгу не обязательно читать от начала до конца. Можно, наоборот, начать с конца. Или с середины. Или с любого другого места. А можно вообще не читать – просто пробежать глазами. Даже не по всей книге, а только некоторым главам. Это не роман. Это рассказы о жизни одного человека. Впрочем, не одного, а всех, живших в одно время с автором книги. И она тоже – для всех, имеющих разные вкусы, взгляды, интересы и возрастные предпочтения. Вам интересны знаменитости? Пожалуйста, вот встречи с Б.Окуджавой, В.Войновичем, М.Светловым, М.Шолоховым, с Ю.Лужковым, А.Кашпировским. Вот впервые публикуемые письмо И.Эренбурга и рисунок П.Антокольского. А если вы любитель остросюжетных историй, можете прочитать почти детективные рассказы о «безродных космополитах» или «великой стройке коммунизма». Но, возможно, вас интересуют документальные свидетельства эпохи – тогда читайте о «Перестройке», русских «Северах», похоронах А.Тарковского и кубинском диктаторе Ф.Кастро. А, может быть, вы – заядлый турист и путешественник? В этом случае, не пропустите рассказы о Соловках, Кий-острове, Ташкенте и Керчи, о Париже, Гаване и Вене.

© Разумов Г. А.

© Автор

Содержание

Предисловие. ЭТА КНИГА НИКОМУ НЕ НУЖНА	5
Глава нулевая	9
ОДЕССА, 1905 год	10
КОРОЛЕВА ИЗ УСПЕНСКОГО ПЕРЕУЛКА	13
ВОРОШИЛОВСКИЙ ПРИЗЫВ	16
Глава первая	18
ШУХАРНОЙ МАЛЬЧИШКА	19
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС	22
Глава вторая	25
ТАЙНА ДЕРЕВЯННОЙ ОГРАДЫ	26
ЦИКЛОПИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛИ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ	27
А ТАМ НИЧЕГО НЕ БЫЛО	30
Глава третья	33
ДЕТСТВО, РАЗЛОМАННОЕ ПОПОЛАМ	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Геннадий Разумов

От 7 до 70

*С тобою, время неистовое,
Я жизнь свою перелистываю.*
П. Антокольский, «Надпись на книге»

Предисловие. ЭТА КНИГА НИКОМУ НЕ НУЖНА

В небольшом читальном зале районной библиотеки народу собралось немного. Пришли в основном только свои.

Первым поднялся с места Эдик Стародругов.

– Зачем горбатить спину над письменным столом и ломать мозги у компьютера? – Он обвел собравшихся вопросительным взглядом. – Не лучше ли с друзьями потягивать коньячек на кухне или резаться в преф за ломберным столом? Или, на худой конец, покидать мяч на волейбольной площадке.

– Ну, уж, смотря, кому что, – заметил Наум Оправданский, – одному ром, другому бабу, а третий удовлетворяется и ромовой бабой. Я, к примеру, всю жизнь пивные этикетки собираю. Тоже ничего, интересно.

Сидевший напротив Тигран Критикян сверкнул очками в железной оправе и проскрипел приглушенным басом:

– Эта книга никому не нужна. Никто читать ее не будет. Я пробовал ее подсунуть сначала своей младшей дочке, потом старшей. Первая держала ее, держала и вернула, даже ни разу не раскрыв. Старшая, тоже не читая, отдала книжку какому-то своему приятелю.

Неожиданно где-то в конце зала послышался шум, громкие спорящие голоса, потом кто-то крикнул:

– Это мне она дала книгу посмотреть. – Со стула поднялся молодой мужчина с поднятой над головой книгой. – Я ее читал – чуть было не описался.

– Чего в ней смешного? – обиделся сидевший за столом Авторович.

– Да нет, – объяснил Неописавшийся читатель, – я взял эту книгу в командировку и так в самолете ею увлекся, что оторваться не мог. Не успел даже в туалет сходить.

– Тогда другое дело, – заулыбался довольный Авторович и повернулся к Критикяну: – Вот видите, что люди говорят.

Но тот снова нахохлился, блеснул кругляшками очков.

– Не знаю, как кому, а мне эта ваша мемо-нудность, простите за грубую простоту, чуть челюсть от зевоты не свернула. – Критикян взял в руки лежавшую на столе книгу, подержал немного, потом положил обратно: – У каждого тоже в жизни много чего любопытного случается, и много всяких баек мы слышим от своих пап и мам. Но это ж не значит, что они кому-то еще интересны, кроме нас самих.

– Да, – подмигнул Авторовичу Эдик Стародругов, – ты, старик, далеко не В.Катаев и не В.Катанян. Хотя тоже все-таки не простой мужик.

– Но эта книжка вовсе не об авторе, – заикнулся от волнения Авторович. – Неужели не понятно? Про «лирического героя» еще в 9-м классе проходят. И, кроме того, разве можно про самого себя писать? Никак нельзя. Волей не волей придуриваешься и привираешь. Перо как-то само уходит в сторону. Это ведь ежу понятно: о живых писать – дохлое дело. Что о них не напишешь, они считают враньем. Я как-то сдуру показал одному своему знакомому пару

страничек, его касающихся. Скандал вышел ужасный – он так обиделся, что перестал со мной здороваться.

Наум Оправданский встал из-за стола, подошел к Критикяну.

– А уверены ли Вы, Тигран Тигранович, что Ваши дочки вообще что-нибудь читают? Я вот на этот счет по поводу своих ребят особо не обольщаюсь. Некогда им читать беллетристику, да и неохота. А мемуарные книги – тем более. Я сам-то, помню, молодым удивлялся своей бабушке: ну, чего это она находит интересного в эренбургских воспоминаниях? Скукота, и только.

– Прав Нема, – откликнулся Эдик Стародругов. – Книжный бум давно откинул тапочки. Когда страна в заднице, то и культура там же. Поглядите, что народ читает, а? Одна чернуха и сексовщина: «Вкус убийства», «Нежное дыхание смерти», «Любовные утехи императрицы», «100 великих любовниц». Кто это написал? Может быть, Булгаков и Платонов или Кафка и Джойс. Увы, сейчас не то время, когда:

*К литературе тяготея,
По магазинам бегал я.
Хотел купить Хемингуэя,
Но не купил Хемингуэя.*

– А я вот недавно, – похвалился Оправданский, – купил на развале у одного барыги томик «Детской энциклопедии» 1910-го года. Догадаетесь, за сколько. Не поверите – всего за 2 доллара. Представляете? Еще с десяток лет назад за нее не меньше 200 баксов слупили бы.

К разговору подключился молчавший до сих пор степенный и рассудительный Степан Евграфович Наумок:

– У меня тоже весь коридор в стеллажах с книгами. Никто их не читает, ни дети, ни внуки. Куда их теперь девать, не знаю. И все же, думаю, век книги не закончился, – Степан Евграфович снял очки, протер их бумажной салфеткой и водрузил обратно на нос. – Помните, как в свое время театр хоронили кинематографом, потом кино телевидением, а его, в свою очередь, видеопрокатом? Не вышло, не схоронили. Все они, слава Богу, живут и здравствуют, каждый в своем углу. Теперь вот говорят, что новый монстр – компьютер слопаёт книгу. Нет, не осилит он ее, подавится. Книги будут читать.

Наумок сделал многозначительную паузу, потом обратился к Авторовичу, который подпирал ладонями щеки, покрытые красными пятнами:

– Но уж, извините, только не Вашу. Тут я, увы, Вашим поклонником не являюсь, и вынужден согласиться с Тигран Тигранычем. Скучная эта книга. Какая-то вялая, сухая. Пожалуй, она не написана, а скорее, составлена, сконструирована, построена. Ну, вроде ваших железяк-изобретений. Однако, те, как я наслышан, куда лучше Вам давались.

– Насчет научных достижений не знаю, не специалист, – снова резанул Критикян. – Может быть, в той узкой области и есть нечто свое, оригинальное. Но вот в литературе... – Критикян покачал головой и вонзил взгляд в Авторовича – Между прочим, знаете, какая главная примета графомана? Читаешь его писанину и думаешь: где-то когда-то что-то такое я уже встречал. Вот эти страницы, например, сделаны под Токареву, а эти – под Довлатова, а там явно пахнет Алешковским. Ни одной самобытной фразы.

– Зря вы так, мужики, – возразил Оправданский. – У Авторовича легкое перо, он пишет свободно, раскованно. Конечно, он не Лев Толстой и даже не Михаил Веллер. Но отдельными местами в его книжке действительно можно зачитаться. А что мне особенно нравится – нет у него никакого нынешнего выпендрежа, вся книга выдержана в хорошем классическом литературном стиле.

– Да зачем он нужен этот стиль? – восторженно воскликнул Критикян. – Вот в журнале «Знамя», например, тоже печатаются воспоминания, но там авторы не выпрыгивают из себя, не пытаются изображать беллетристику. Излагают только факты, просто и безыскусственно.

К критике Критикяна присоединился Наумок.

– Как же нет выпендрежа? – он раздраженно ткнул пальцем в лежавшую перед ним книгу. – Возьмите, хотя бы, это вот предисловие – одна сплошная рисовка. Даже то, что я сейчас говорю, – тоже пустопорожнее выпендривание. – Степан Евграфович достал из кармана брюк носовой платок и громко высморкался. – Или эта выковырка, название, – продолжил он. – «От 7 до 70» – это что за арифметика, почему семь, почему семьдесят?

– Привет от Корней Ивановича Чуковского, – улыбнулся Эдик Стародругов, – «От 2-х до 5-ти» он тоже писал не в юношеском возрасте. Хотя в детство и не впал.

Лоб Авторовича покрылся крупными каплями пота, он стер их тыльной стороной ладони.

– Что ж тут непонятного? – пробормотал он, стараясь удержать пальцами дергавшееся от волнения веко. – Хотя рассказ и начинается до того, как главному герою стучает 7, но начало его самоосознания относится именно к этому возрасту. А заканчивается в 70, потому что именно тогда завершился наиболее активный этап его жизни. Поэтому нулевая глава без номера – как бы вступление, преамбула, а последняя – эпилог, заключение.

– А, что, собственно, плохого в том, что в этой книжке есть интрижка? – срифмовал Оправданский и добавил: – Если театр начинается с вешалки, то книга с названия.

– И с обложки тоже, – добавил Эдик Стародругов. – Она тоже должна быть завлекалкой, а то никто книгу и в руки не возьмет.

К разговору подключился Бернольд Себялюбин. Его благородная седая шевелюра возвысилась над столом и красиво наклонилась в сторону Авторовича.

– Память настаивается на времени, как старое вино, и становится крепче, острее и забористей. Эту сентенцию я сам придумал. – Он со значением посмотрел поверх повернутых к нему голов, потом настроил взгляд на Авторовича. – В этой книге – наше с вами время, каждый может найти в ней свой кусочек памяти, свой собственный, свой частный интерес.

Авторович повеселел, приосанился и произнес с умеренной долей запальчивости:

– Я вот и говорю, книга сделана, как русская матрешка – рассказ в рассказе. Вынимай любой и смотри, каждый по отдельности. Совершенно не обязательно книгу всю читать. Это не роман, общего сюжета нет.

Себялюбин строго посмотрел на Авторовича, не вовремя перебившего его речь, и продолжил:

– Кто-то в этой книжке может увлечься остросюжетностью одних глав, кому-то окажется полезной документальность других. А то, что не все в книге всем интересно, так это обычное дело. Если честно говорить, я в юности даже «Войну и мир» читал по диагонали, философские размышления Толстого меня тогда мало трогали.

Себялюбин обернулся на сидевшего позади него Эдика Стародругова:

– А что, по вашему, когда человек уходит на пенсию, лучше, если он в парке козла забивает или костяшками домино стучит? Я думаю, полезнее, если он воспоминания пишет.

Эдик заерзал на стуле:

– Нет, насчет коньяка я, конечно, немного загнул, – сказал он смущенно. – Если кто может писать – дай ему Бог, пусть пишет. Я-то не умею.

Вдруг с места поднялся Оправданский.

– У меня есть предложение, – заявил он. – Давайте, все же, добавим в эту бочку дегтя еще одну ложку меда. Для этого я предлагаю прежде, чем поставить на нашем сегодняшнем толковище точку, водрузить на нем сначала вопросительный знак. Пусть Предисловие называется «Эта книга никому не нужна?»

– Продуктивная мысль, – одобрил Бернольд Себялюбин. – С этим предложением можно согласиться. Но этого недостаточно. Хотелось бы еще заказать Авторовичу новую книгу. Давайте, и ей придумаем завлекательное название, ну, например, такое: «Восемьдесят с плюсом». Вот с таким большим.

И он согнутой рукой выразительным жестом от локтя показал с каким.

Глава нулевая ЖЕНЩИНА-ИНЖЕНЕР



ОДЕССА, 1905 год

Яркое южное солнце падало с голубого безоблачного неба и разбивалось вдребезги о разлапистые кроны платанов и акаций. Оно погружалось в густую массу темнозеленой листвы, растворялось в ней и, просачиваясь сквозь мелкое сито ветвей, прыгало по брусчатой мостовой множеством маленьких веселых мячиков.

Они шли по Пушкинской улице, переполненные этим горячим июльским солнцем, этим пахнущим морем и пылью ветерком с Приморского бульвара и острым чувством радостного ожидания чего-то необычного, особого, неизведанного. У их ног лежал только что начавшийся, манящий радужными надеждами и добрыми предчувствиями новый, необъятный и загадочный XX век.

Они шли, взявшись за руки, и без перерыва болтали о том, о сем.

– Матушка императрица Екатерина Великая, не была сильна в географии, – изрекал Давид, со значением поглядывая на свою подружку Дору. – Иначе, она бы так не напутала, перенесла сюда из-под болгарской Варны древнегреческий Одессос. Вообще она понаделала немало географических ляпсусов.

О, как он хотел нравиться этой девочке с добрыми умными глазами!

И ей тоже был далеко не безразличен начитанный аккуратный юноша с щегольской тросточкой в руке.

Но как ему намекнуть, чтобы он сбрил свои колкие франтоватые усики?

... А это еще что такое: куда он ее тащит, крепко сжимая ладонь? Она подняла голову, посмотрела вверх. Стенные часы на фронтоне вокзального здания показывали 5 – так и есть, через десять минут подойдет киевский поезд.

– Нет, нет, – нерешительно прошептала она, – не надо сегодня, твой отец еще не дал нам благословения.

Но Давид настойчиво тянул ее к перрону, где уже толпилась встречающая публика. По платформе чинно прохаживались манерные дамы в длинных платьях и больших круглых шляпах с бумажными цветами. Бросая в их сторону торопливые взгляды, пробегали мимо быстрые господа в дорожных котелках, черных костюмах и длинных белых кашне. А поодаль стояли, поглаживая бороды, солидные городовые и степенные носильщики с длинными широкими ремнями на плечах.

Но вот народ встрепенулся, заволновался, рванулся вперед: издали послышался стук колес и пыхтение паровоза. Затем раздался громкий гудок, и к перрону стал медленно приближаться окутанный белым паром первый вагон. Возле него пронзительно взвизгнули трубы духового оркестра, кого-то встречали с музыкой, загремели буфера остановившегося поезда, и разноголосый гул восторженных приветствий, радостных возгласов, криков, смеха и плача повис над платформой.

И никто не обращал внимание на двух влюбленных, приветственно целовавшихся в многолюдной суетливой вокзальной толпе.

А где, спрашивается, им было еще целоваться?

Шляпный магазин Шимона Розумова находился не где-нибудь, а на самой главной улице города, Дерибассовской, в небольшом двухэтажном доме с широкой обрешеченной витриной, закрывавшейся жалюзи, и двустворчатой дверью, обитой железом. Первый этаж занимал торговый зал и пошивочная мастерская со складом и конторой.

Здесь всем распоряжалась старшая дочь хозяина Катя, строгая властная женщина, никого из других своих братьев и сестер к делу не подпускавшая. Сам хозяин большую часть времени проводил наверху в жилой части дома.

Именно там и находилась просторная столовая, где в этот момент происходил непростой разговор между отцом и сыном – тот первый раз привел в дом свою возлюбленную. Впрочем, какой разговор? Это был, скорее, монолог – папаша Розумов любил поговорить.

– Не делай, Видя, такое постное лицо, как-будто у тебя отнимают кусок кугеля с изюмом. Я знаю, что крутится в твоей модно подстриженной головке: "Надоел этот старик, вечно твердит одно и то же." Но, если ты не хочешь – не слушай, не надо. Но не мешай слушать Доре – она-то ведь, наверное, интересуется нашей семьей. К примеру, почему бы ей не узнать, как это я, чистокровный, стопроцентный еврей, имею такую совсем даже нееврейскую фамилию. Могу рассказать. Это очень давняя история. Я открою, тебе, девочка, секрет: моя фамилия – вовсе не моя фамилия. Как так? – удивишься ты, и будешь права. Объясняю. Во-первых, в хедере я был Розимов, это потом я для благозвучия изменил на вывеске магазина одну букву. Во-вторых, что самое главное, и эта фамилия тоже совсем-таки не моя. Дело в том, что у моего папы, нам бы на долгие годы его мужскую силу, была целая дюжина детей. Но одни только девочки. А хлопцев мой папочка сделал только двоих – Шмаю и меня, Шимона. Кого-то одного должны были забрать в армию на 25 лет, в николаевские солдаты. А другого по закону полагалось оставлять в семье – кормильцем. Вот тут-то наш раввин ребе Йозефл, нам бы на долгие годы его соломонову мудрость, посоветовал отдать меня в усыновление одинокому бездетному купцу Розимову с Маразлиевской улицы. Целых 50 рублей стоила моя гойская фамилия и с нею мое счастливое беззаботное детство. Само собой разумеется, благодаря этому, и мой брат Шмая избежал рекрутчины.

Отец прервал свою речь и строго посмотрел на Давида и Дору, которые чинно сидели напротив за столом и явно скучали, хотя делали благопристойный вид. У них в этот момент был свой особый интерес, и сердить старика, конечно же, ни в коем случае не следовало.

– Между прочим, – продолжал он, улыбнувшись, – против Дорочки я ничего не имею. Даже совсем наоборот. Но вот они... – отец многозначительно показал руками вокруг. – Они все против вашей помолвки. Особенно твоя старшая сестра Кетл. Ведь она взяла весь магазин на себя, набрала силу, и всем управляет. Теперь я – нуль без палочки. Так вот Кетл говорит: "ее отец Лейзер Бейн, коммивояжер, гроша ломаного за дочкой не даст". И вообще, мол, для нашей семьи это мезальянс. Вот почему, если я вам теперь дам благословение, они меня заедят. Подождите немного – у вас же уйма времени, вы же только что кончили гимназию. И не говорите мне за Соломона и Соню, на свадьбе которых вы, кажется, познакомились. Вы и они – две больших разницы. Твой, Дора, старший брат Соломон – вполне уже взрослый молодой человек, финансист, твердо стоит на ногах, хотя еще и не имеет своего собственного дела. Так что я за нашу Сонечку спокоен. А что вы, босяки? У вас пока что ветер в голове, вам еще рано жениться. Не делайте спешку.

Но они спешили. Им хотелось поскорее начать самостоятельную жизнь, хотелось учиться, работать, любить. Дора недавно поступила на математическое отделение Педагогических курсов, но это ей не очень-то нравилось, хотелось чего-то иного, тянуло к инженерии, технике, манил стук фабричных станков и паровозные гудки поездов. А Давид смотрел на нее влюбленными глазами и готов был бежать за ней хоть на край света.

И вскоре этот край в их жизни появился в виде небольшого бельгийского города Льежа. Туда, в Королевский Политехнический университет, собралась поступать ее старшая сестра Роза и еще большая компания молодых евреев – одесситов. Всем им пресловутая процентная норма давала мало шансов получить высшее образование в России. Особенно это касалось девушек, да еще с таким дерзким по тем временам намерением, как у Доры, получить техническое инженерное образование.

Фонд
Свидетельство.

Дано от Александра Караголова Рабвина
за надлежавшие подписки и печать в том,
что по швейцарской фирме о разбивших евреев
г. Одессе, за 1883 год значится номер №348
швейцарской фирмы автор елигодущего содержания:
Тысяча вольнософий вольнодешевый третейско
гоза, марта 16 дней у Александра мизузаниса
Амилон Розинова и тысячи его востеро
Карте разливей сирь, нарезанный шпеленко
"Давид"

Одесса августа 8 дней 1890 года.
И. г. Александр Караголова Рабвин (Рабин)

1890 г. 10

КОРОЛЕВА ИЗ УСПЕНСКОГО ПЕРЕУЛКА

В Льеже они жили дружной русской колонией, учились, подрабатывали уроками, изредка даже ходили в театр. Со временем папаша Розумов стал присылать Давиду ежемесячно по 10 рублей (золотых) – их хватало не только на жизнь, кое-что оставалось и для поездок на каникулы во Францию и даже в Швейцарию.

На 3-м курсе, согласно программе, состоялась производственная практика на угольных шахтах Кокриля. Дора была единственной женщиной в группе студентов, приехавших из университета. Шахтеры встретили ее враждебно. "Юбка в шахте – быть беде", – говорили они. Но тут, как и в наши времена, хозяйственные интересы оказывались важнее всего остального.

Еще до появления Доры директор предприятия нацелился взять на работу нескольких малооплачиваемых работниц, а чтобы развеять давний антиженский предрассудок пригласил королеву Елизавету, жену Альберта 1, посетить угольные копи. Для нее приготовили даже специальную ванну, чтобы она могла помыться после спуска в шахту. Однако королева не приехала – повидимому, нашла для себя более важное или приятное занятие. И вместо нее первой женщиной, спустившейся в угольную штольню, была Двойра Бейн, юная студентка – практикантка с технического факультета Льежского государственного университета.

Время шло, и однажды Давид сказал своей невесте:

– О, мой Бог, сколько можно ждать? Давай наплюем на эту мою одесскую мишпуху, утрем нос строптивой сестре Катьке и поженемся без всякого там венчания и хупы. Здесь давно уже браки заключаются в мерии.

Дора, тоже не получившая такого уж строгого иудейского воспитания, поколебалась немного, потом взяла напрокат в ателье мод свадебное платье, и в ближайший выходной день они с друзьями отправились в городскую ратушу.

Но тут их поджидала досадная неожиданность. Когда они подошли к мерии, из нее на площадь вышла многочисленная свадебная процессия. Что в этом особенного? Да ничего.

Если бы не одно небольшое обстоятельство, которое буквально парализовало Дору. Дело в том, что навстречу ей под фатой шла согбенная старушка с морщинистым крючконосым лицом и крупной бородавкой на подбородке. А рядом ковылял еще более древний старик, тяжело опиравшийся на большую деревянную клюку.

– Ой, я боюсь! – воскликнула Дора и потянула своего жениха за рукав. – Пойдем назад, это плохая примета.

– Подожди, сейчас узнаем в чем дело, – шепнул Давид, – пусть кто-нибудь сходит, спросит.

Лучше всех знавшая французский Роза побежала вперед и через пару минут вернулась, оживленная, взволнованная.

– Быстрей, бегите, женитесь! – воскликнула она, блестя своими веселыми черными глазами. – Добрый знак подает вам судьба – у этих стариков сегодня 50 –тилетний юбилей, и они, как здесь принято, пришли на свое второе бракосочетание. Считается, кто женится следом за такими юбилярами, тоже в свое время отметит золотую свадьбу.

Это давнее предсказание в точности сбылось. 14 мая 1957 года Давид и Дора, прожив долгую счастливую семейную жизнь, отпраздновали свою золотую свадьбу.

Но до этого было еще и двадцатипятилетие их супружества, на которое, кстати сказать, среди многих других подарков, они получили и один достаточно важный, на мой взгляд, презент: точно в день их серебряной свадьбы, 14 мая 1932 года, Бог подарил им первого внука, то-есть, меня.

О, магия цифр! У моей мамы родился брат, когда ей было 10 лет, а сын, то-есть, я, когда ей стало 20, у меня же самого появилась старшая дочь, когда мне было 30 и младшая, когда стало 40. Десять – двадцать – тридцать – сорок, вот так!

...К сожалению, только два года после золотого юбилея пробыл еще Давид на этом свете, а позже и Дора ушла из жизни, не дожив тоже два года до своего девяностолетия.

Их брак был крепким и счастливым, каким чаще всего он бывает когда в семье главенствует женщина. А Дора действительно была истинным лидером. Она успешно провела семейный корабль через все штормы первой половины XX-го века, благополучно, почти без потерь, миновав бури двух революций, четырех войн и даже годы сталинских репрессий.

Дора была по-настоящему умной женщиной. Я, дурашка, все свое детство (и даже юность) считал, что главный у нас в семье дед. Он всегда за обедом сидел на самом почетном месте, ему подавали первую тарелку, никто не начинал есть без его команды. Когда я спрашивал бабушку, можно ли мне пойти погулять или что-то взять, она неизменно отвечала:

– Спроси дедушку.

И очень не скоро, наверно, только тогда, когда сам обзавелся семьей и стал отцом, я понял "who was who".

Но все это было потом, потом, потом...

А пока была суббота 22 октября 1911 года. Мальчишки на Ришельевской продавали газеты и звонкими дискантами старались донести до ушей прохожих заголовки свежих новостей:

– *В Неаполь прибывают турецкие беглецы из Триполи*, – кричали продавцы газет на одном углу улицы. – *Чтобы избежать нападений и оскорблений со стороны итальянцев, беженцы на борту парохода передеваются в европейские платья.*

– *Железнодорожная станция Ханькоу захвачена китайскими революционерами*, – истошно кричали они на другом углу улицы, – *ее вокзал обращен в их главную квартиру.*

– *Морской министр адмирал Григорович знакомится с планом переоборудования верфи «Общества Николаевских судостроительных заводов»*, – несло с третьего угла улицы. И еще, еще:

– *Блистательному Морису Метерлинку присуждена премия Нобеля.*

– *В воскресенье в Москве начинается работу Толстовская выставка.*

– *В Санкт-Петербурге отмечается 100 лет обществу любителей русской словесности.*

– *Изобретатель Эдиссон посетил Берлин.*

– *Первый памятник королю Эдуарду открыт в Лондоне.*

...Давид слушал эти возгласы без особого интереса, у него были другие заботы. Он шел по Ришельевской и бережно нес в руках пакет с иллюстрированным субботним приложением к «Одесским новостям», десять экземпляров которого он только что купил. У перекрестка он остановился и в нетерпении еще раз развернул газету.

На самом видном месте красовался портрет элегантной дамы в мехах. Это была Берта Цубер – невеста эрцгерцога Фердинанда-Карла, из-за которой австро-венгерский наследник отказался от своих прав члена императорского дома. Сенсация, как бабочка, прожила всего несколько дней, правда, только для того, чтобы через три года появиться вновь в виде выстрела в Сараево, начавшего 1-ую мировую войну.

Но, конечно же, не из-за этой дамы накупил Давид столько газет. Совсем ради другого.

В том же номере был помещен еще один женский портрет. Госпожу Розумову-Бейн чествовали на общем собрании городского Технического общества, как первую женщину инженера – механика на юге России. Только несколько лет спустя выяснилось, что это была репортерская ошибка. На самом-то деле, Дора была вообще первой женщиной инженером в России, так как лишь через два года после получения ею инженерского звания другие 3 женщины защитили дипломные проекты на высших Политехнических курсах в Петербурге.

Дома на Успенском переулке собрались родственники и друзья. Пришли и Розумовы, включая Катю, старшую сестру Давида – ей пришлось смириться с браком, против которого она раньше так резко выступала. Сели за стол, выпили, закусили. Произнесли тосты и заздравные речи. Это и была по сути дела свадьба – ведь раньше она не получилась.

Но, увы, недолго длился приятный шум вокруг молодой особы, высшее техническое образование которой серьезно осложнялось еврейским происхождением. Предприниматели не спешили брать к себе на службу девушку – «техничку», как-то умудрившуюся пробраться в сферу чисто мужского влияния. С большим трудом ей удалось устроиться чертежницей на Одесский механический и чугунолитейный завод Беллино-Фендериха.

Немного что изменилось для нее и в Петербурге, где им с мужем дали так называемый "Вид на жительство", предоставлявшийся в то время евреям, имевшим высшее образование. В столице молодые инженеры поступили на один из заводов фирмы "Сименс и Гальске", изготовитель слаботочной аппаратуры для телефонной связи. И снова женщину-инженера взяли не в цех, на производство, а простой лаборанткой по измерению характеристик приборов.

Только в 1929 году после переезда в Москву на подъеме сталинской индустриализации ей удалось, наконец, начать свою истинно инженерскую деятельность. И всю свою рабочую жизнь она отдала московскому Электрозаводу.



ВОРОШИЛОВСКИЙ ПРИЗЫВ

В августе 1912 года в Успенском переулке, где жили Бейны, родилась дочь Лора (Елеонора), моя мама. И только через 9 лет, отнятых у того поколения революциями и войнами, появился на свет ее брат Леля (Леонид). Именно ему судьба уготовила через целое поколение восполнить тот пробел в послужном армейском списке нашего рода, который образовался в результате увертки его деда Шимона от военной службы царю – батюшке.

Шел 1939 год, когда укоренившийся в диктаторах Сталин решил, что наступает момент восстановления имперских границ России, потерянных ею в революционных и военных передрягах прошлых двух десятилетий. И в эту же самую временную точку попал призывной возраст скромного интеллигентного мальчика Лели Разумова, только что окончившего среднюю школу и поступившего на первый курс московского института инженеров связи.

Он увлекался астрономией, сделал своими руками телескоп, и по вечерам (о, чудо!) смотрел на Луну. Иногда и мне давал посмотреть в эту удивительную трубу. А за это я залезал для него в нижнее отделение огромного бабушкиного дореволюционного буфета, где умещался тогда с головой, и доставал ему столовой ложкой из большой стеклянной банки вкусное брусничное варенье. Прошло немало времени, пока я догадался, что и сам могу есть эту вкуснятину, а не облизовать только после него ложку.

Но вот грянул так называемый «Ворошиловский» призыв – по нему восемнадцатилетних юношей брали в армию прямо из институтов. Леля сразу попал на Карельский перешеек, где Сталиным только что была затеяна та самая зимняя финская война, в которой погибло столько молодых людей. Слава Богу, Леля вышел из нее целым и невредимым, даже ничего себе не отморозил, в отличие от многих своих сверстников.

Однако вскоре подоспела пора присоединять к СССР Бессарабию, и его полк спешно был переброшен в молдавский городок Болград. Там до июня 1941 года мой дядя без особых происшествий благополучно охранял новый социалистический порядок на новых западных рубежах родины.

Но тут ударила гроза, от которой три поколения XX-го века до сих пор не могут оправиться. Лелина часть в первые же дни войны попала в окружение, "котел", как тогда говорили. С боями она пробилась в Одессу, а потом была переправлена в Крым.

И вот тут везение кончилось – Леля попал в плен.

С еще несколькими красноармейцами его поместили в сарай, закрыли на замок и выставили часового. А утром вывели во двор, построили в шеренгу и заставили спустить штаны – выявляли евреев. Леля назвался татаринком, перед этим кто-то ему объяснил, что у мусульман тоже есть обряд обрезания.

На следующий день к ним в сарай втолкнули еще нескольких пленных, среди которых был один его бывший однополчанин, страшный гад и антисемит. И тогда Леля понял, пока его не выдали, надо смываться. Ночью, попросившись у часового в уборную, стоявшую поодаль, он сбежал.

Бог берег его. Он прошел по территории, оккупированной немцами, почти тысячу километров. Шел один, обходя города и деревни, питался чем придется, копал на огородах картошку, ел сырые зерна пшеницы, овса и ячменя. Смертельная опасность подстерегала его за каждым кустом, каждым поворотом дороги.

Только дойдя до пригородов Брянска, он, наконец, встретил партизанский отряд. Это было подразделение капитана Сабурова, ставшего позже известным командиром знаменитой партизанской армии Ковпака. Этот Сабуров оказался порядочным человеком, он поверил

лелиному рассказу об истории его побега из плена (по тем суровым временам было это достаточной редкостью) и взял в свой отряд пулеметчиком.

Два года еще воевал Леля, пока не был ранен в ногу и отправлен самолетом через линию фронта на Большую землю. И все это время возвращались из полевой почты бумажные треугольники с горькой тревожной припиской "пропал без вести".

После госпиталя его постигла судьба почти всех, кто в том или ином качестве побывал тогда на оккупированной территории – он был арестован и отправлен на лесоповал, где валил и разделявал тот самый Брянский лес, в котором совсем недавно партизанил. Но и тут ему помог Бог в лице моей героической мамы, вызволившей брата из лагеря с помощью традиционного российского приема – снятия с пальца в нужный момент золотого кольца перед столом важного начальника.

Так что отмерено было моему дядюшке-бедолаге столько горестей в начале его жизненного пути, что их вполне хватило на всю его последующую жизнь, которая прошла в общем спокойно и размеренно, без особых невзгод. Однако он так был ошарашен всем с ним происшедшим, что долгие годы скрывал (или просто не афишировал) свое партизанское прошлое. Причем даже тогда, когда это совсем уж было ни к чему. По крайней мере, до тех пор, пока Брежнев, наконец-то, официально признал за бывшими партизанами право тоже считаться ветеранами Великой Отечественной войны.

Справедливости ради, надо добавить, что в моей родословной не только с маминой стороны была отдана столь тяжелая дань Богу (Дьяволу) войны. Еще в середине XIX века папин дед Яков Зайдман в раннем детстве попал в кантонисты по реестру брянского города Карачева, откуда происходят все мои родичи по отцовской линии.

Вот так распорядилась судьба – этот мой предок Зайдман четверть века прослужил царю и отечеству и, кажется, получил даже Георгиевский крест. Таким образом, вместе с Лелей он отдал долг воинской повинности и за Шимона Розумова, избежавшего в свое время солдатчины. И за меня, и за других наших потомков мужчин.

Думаю, этого вполне достаточно.

ШУХАРНОЙ МАЛЬЧИШКА

В нашем ведомственном детском саду была одна большая комната, которая служила нам одновременно столовой, спальней, танцевальным залом, читальней и еще чем угодно. У нее были широкие трехстворчатые итальянские окна и паркетный пол, оставшийся еще от старорежимного прошлого. С потолка свисал с потолка зеленый шелковый абажур на проволочном каркасе, а между окнами располагались остекленные канцелярские шкафы с игрушками – дары нашего шефа, Электрозавода.

У стен почти вплотную друг к другу стояли небольшие железные кровати со скрипучими панцирными сетками. На них по вечерам, после отбоя ко сну, было весело качаться и прыгать, но зато по утрам на них же было ужасно больно ворочаться, когда сбивались в сторону тонкие ватные матрацы, и проволочная сетка острыми краями впивалась в наши худенькие детсадовские бока.

Кроме этих нужных и понятных вещей, была еще одна, резко отличавшаяся от всех остальных формой, цветом и, главное, назначением. Она висела на стене над дверью и, казалось, строго следила за каждым, кто входил в комнату, все видела, все замечала, не оставляла без внимания ни одну нашу проделку, ни одну даже самую невинную шалость. Это всевидящее око наблюдало за нами днем и ночью, присутствовало при всех наших играх, учебных и физкультурных занятиях, зорко смотрело за тем, что мы читаем, рисуем, вырезаем, клеим и даже не покидало нас, когда мы ели и спали или даже когда сидели на горшках. Вот почему мы ее неосознанно побаивались и, мягко говоря, недолюбливали.

Но, конечно, больше всего нам хотелось узнать, что там у нее внутри, где в ней сидят те самые тети и дяди, которые поют "Катюшу" и "Калинку-малинку" или рассказывают про "Конька-горбунка" и "Аленький цветочек".

У этого круглого черного предмета на стене было несколько странных непонятных очень трудных названий: репродуктор, радиоточка, тарелка. Последнее вызывало особенное удивление, так как вряд ли кому-нибудь когда-либо удавалось из нее поесть. Это мы установили с достаточной степенью точности, потому что, влезая на стул, доставали ее пальцами и наощупь убеждались: да, эта тарелка сделана из простой черной бумаги, и в нее не то что суп, но и котлету с вермишелью не положишь.

Однако, настоящий эксперимент, поистине, разведка боем, хотя никем специально и не планировался, оказвался довольно неуклюжим.

Был в нашей старшей группе рыжий вертлявый шухарной мальчишка по имени Кока (наверно, Коля – Николай). И прозвище он носил соответствующее – Петух. Вечно он ко всем приставал, задирался и делал мелкие пакости. Особенно он норовил подкинуть какую-нибудь подлянку тому, кто, как он думал, не двинет ему по носу.

Например, во время обеда, когда все брались за ложки, Кока портил воздух и тут же поднимал руку, обращаясь к воспитательнице с самым невинным видом:

– Агния Петровна, а Сема опять навонял.

И бедного Сему или еще какого-то другого тихоню выводили с позором из-за стола.

Как-то Петух принес в коробке из-под папирос "Беломор" длинного жирного дождевого червя, не знаю даже, где он такого откопал. Вечером перед сном вместе с несколькими своими дружками-подпевалами он подложил червя к тому самому Семе в постель. Потом шутнички улеглись пораньше в кровати и закрылись одеялами с головой. Когда Сема вошел в комнату, из-под одеял слышалось трудно сдерживаемое хихикание. Ничего не подозревавший простодушный Сема подошел к своей кровати, неторопливо разделся и лег. Но, конечно, тут же вскопчил, громко крича и плача.

Хохоту было на целый час.

А вот на этот раз от Петуха досталось мне.

Как-то на улице я подобрал потерянную кем-то рогатку. Она была сделана из куска ивово-вой ветки с привязанной к ее растопыренным концам широкой резинкой от труссов, которая была хоть и старая, но довольно тугая. Когда я принес рогатку в детский сад, мальчишки обступили меня со всех сторон.

– Дай посмотреть, – просили одни.

– Дай потрогать, – говорили другие.

– Давай стрельнем – предлагали третьи.

И только Кока-Петух, ни слова не говоря, нахально вырвал у меня из рук рогатку, повертел ее, пощупал, потянул резинку, а потом достал из необъятных глубин своих карманов небольшой круглый камень.

– Надо жидов стрельнуть, – процедил он сквозь зубы и нацелился на небольшую стайку бойких воробьев, без умолку чирикавших под нашим окном и, как будто нарочно дразнивших Коку, взлетая на подоконник и прыгая перед самым его носом.

Он натянул резинку и долго целился, зажмурив один глаз и водя рогатку за одним из "жидов". Потом он, наконец, выпустил камень, тот полетел в сторону и шлепнулся о землю в таком месте, которое никакого отношения к цели своего полета не имело. Несколько птиц нехотя вспорхнули со своих мест, полетали немного вокруг, потом вернулись обратно, продолжая издевательски весело чирикать.

Кока презрительно взглянул на них, шмыгнув носом, затем с невозмутимым видом снова полез в карман и вытащил оттуда другой камень, побольше предыдущего. Он заправил его в рогатку, опять тщательно прицелился, и...

Но тут произошло нечто совершенно необъяснимое. С тех пор пронеслось много десятилетий, пробежала целая жизнь, но я и сейчас не могу понять, что же тогда случилось. Вместо открытого окна, в которое с таким старанием целился Кока, его камень из рогатки почему-то сделал какую-то невысказанно сложную дугу и полетел совсем в другую сторону. В одно мгновение он достиг абажура, миновал его и, преодолев еще один небольшой отрезок пути, со всей силой врезался... Нет, не в какую-то там пустую стену или дверь и даже не в потолок, а прямо в середину той самой черной тарелки. Раздался треск рвущейся бумаги, посыпались сверху какие-то винтики, гаечки, шайбочки, и только-что громко ворковавшее радио, простуженно захрипело, засипело, а потом совсем смолкло.

– Ой, какой ужас! – воскликнула Агния Петровна, когда вошла в комнату и увидела содеянное. В ее глазах был страх, тревога, отчаяние. Она нагнулась и стала собирать упавшие детали поврежденного репродуктора. При этом ее черное суконное платье туго натянулось, смело обозначив округлые задние формы и высоко оголив длинные жилистые икры ног. Кажется, это было мое первое эротическое наблюдение.

Агния Петровна не решилась сама проводить разбирательство по столь ответственному вопросу и привела к нам строгую не улыбкувую директрису, самоуверенную, неподкупную, прямую и твердую, как сама Правда. Наверно, она была незамужней большевичкой, вроде нашей Фиры Бейн, бабушкиной племянницы. Будучи в войну главврачом госпиталя она отказала своей родной тете в ампуле пенициллина. "Я не могу позволить себе взять лекарство у раненых красноармейцев", – заявила она без всяких сомнений в собственной правоте.

Директриса построила нас в линейку и нависла над нами, заложив руки за спину.

– Ну, так что же, – сказала она, пристально рассматривая каждого сверлящим взглядом, – кто это сделал?

Все молчали, опустив головы и сопя носами.

– Будем играть в молчанку? – повысив голос, продолжала она свое криминальное расследование. – А это что такое, чья эта вещь, кто принес ее в детский сад?

И она достала из-за спины главное вещественное доказательство преступления – мою рогатку. Я вздрогнул от неожиданности: как она попала ей в руки? Ведь рогатка была у Коки – Петуха, неужели он ее бросил? Может быть, от испуга?

Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Оказалось, что маленький поганец, будущий уголовник-пахан или, наоборот, главный судья республики, вовсе не бросил, а ПОДбросил рогатку – он быстро сообразил, что та может его подвести. И, конечно, Петух не побрезговал доношением. Он поднял голову от пола и, глядя куда-то в сторону, тихо промямлил:

– Это Женька рогатку принес, – и ткнул пальцем в мою сторону.

Агния Петровна, всплеснув руками, удивленно посмотрела на меня и недоверчиво перевела взгляд на Коку. А директриса приказала мне грозным голосом:

– Ну-ка, выйди сюда.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

И вот я стою перед ней с низко опущенной головой, бледный, жалкий, несчастный, а по моим впалым щекам текут крупные девчоночьи слезы. Всем своим маленьким, худеньким телом, сотрясающимся от беззвучных рыданий, я чувствую свою ничтожность, свою незащищенность. Я плачу не столько из-за этой откровенной кокиной подлости и не из-за обидного молчания других ребят, которые, зная правду, предательски молчат, и даже не из-за вопиющей, директрисиной несправедливости. Я плачу из-за своей собственной полной беспомощности и растерянности. Я себя ненавижу, я себя презираю за то, что не могу осмелиться открыть рот и что-то сказать в свое оправдание.

О, сколько раз потом, в моей последующей жизни, я вел себя точно также, не умея в нужный момент и в нужном месте собрать в кулак волю, позорно терялся и пасовал перед подлостью, грубостью, хамством! И как много я страдал от этого.

...Конечно, позже, когда в детский сад вызвали мою маму, все выяснилось и стало на свое место – справедливось восторжествовала.

Но что мне тогда уже было до этого?

Еще одно, пожалуй, не менее запоминающееся, но и намного более загадочное событие, связанное с черной тарелкой, произошло как-то утром, когда из нее громко на всю комнату сердито кричал строгий мужской голос. Он долго и непонятно что-то доказывал, требовал, утверждал. И Агния Петровна, обычно не очень-то прислушивавшаяся к радиоточке, на этот раз вела себя очень странно. Она сидела посреди комнаты на табуретке, ничего не делала и, стараясь не отвлекаться по сторонам, внимательно слушала то, что говорил дядя по радио.

Всех детей она посадила на пол вокруг себя и велела сидеть смирно. Но это мало кому удавалось. Радио никто не слушал, все ерзали, сопели, переговаривались, хныкали. Только одна девочка, посидев немного тихо и послушав, вдруг спросила громко:

– Про что это сказки рассказывают?

Агния Петровна почему-то вдруг очень испугалась и замахала на девочку рукой.

Вскоре поняв, что заставить нас слушать не удастся, она для уменьшения шума разрешила взять из шкафов игрушки.

Мне опять достался полусломанный вагончик, название которого я осваивал много времени. Сначала я говорил "главай", потом "травай" и, наконец, "транвай". Тут я посчитал, что совсем уж справился с трудным словом, но взрослые все равно каждый раз меня поправляли, и я никак не мог понять, что же я неправильно говорю.

Сколько я себя помнил, с самого раннего своего самосознания меня, мальчугана – горожанина, почему-то неумолимо тянуло к этому грохочущему техническому чуду. Воображение большинства других моих сверстников занимали четырехколесные бибиалки – грузовики пятитонки ("петьки") или броневые танки на ребристых лентах – гусеницах, и, конечно, звездастые стальные птицы – аэропланы. А меня, всем на удивление, влекли к себе краснобокие вагоны с низкими ступеньками, на которых в часы пик гроздьями висели пассажиры.

Почему?

Может быть, меня завораживали изящные трамвайные дуги, высекавшие из струн-проводов яркие потоки электрических искр, которые бенгальскими огнями празднично рассыпались на поворотах? Или из-за цветных огоньков, зажигавшихся в ранние зимние вечера над лобовым стеклом, за которым чуть обозначалась форменная фуражка вагоновожатого? Еще не постигнув алфавитной и цифровой премудрости, я уже с гордостью сообщал стоявшей рядом на остановке маме:

– Вон два красных огонька – значит, идет наш, одиннадцатый номер.

Я даже знал, что простой бесцветный огонек означает загадочное, ничего не считающее число – ноль.

Я не помню, сколько времени гремел из репродуктора занудный лающий голос. Час, два, три? Я помню только как трудно было, не вставая ни на минуту, высидеть на полу все эти часы. А больше всего мне запомнились крупные перевитые толстыми синими жилами руки Агнии Петровны, бывшей работницы Электростанции, которые непривычно для них замерев, неподвижно лежали на ее угловатых коленях. Сосредоточенная, тихая, она была вся – внимание, покорность, страх.

Мне кажется, больше всего на свете она тогда боялась, что кто-то из нас попросится в уборную по-большому. Ведь тогда ей пришлось бы встать и выйти из комнаты, то-есть, нарушить какой-то таинственный обет, который она дала себе, когда уселась слушать радио. А на наши приставания по поводу малой нужды она уже совсем не обращала внимания. Несмотря на многочисленные просьбы то одного, то другого, никому не только выходить, но и вставать не разрешалось. Поэтому под кем-то уже появились на желтом паркете темные мокрые пятна, и невытерпавший виновато скулил и ерзал по полу. От Коки Петуха тоже текла небольшая струйка, и я все ждал, когда он обратится к воспитательнице с чем-то вроде:

– А Сема опять в штаны написал.

Благо, Сема сидел с ним рядом, а я, слава Богу, далеко.

Но на сей раз даже Кока молчал, видно, был сегодня не в настроении, может быть, и на него действовал как-то этот мрачный угрожающий голос, который давил, подавлял, пугал, выкручивал руки, отрывал голову.

Я, конечно, как и все остальные, не только не понимал, но и не интересовался, о чем таком важном вещает грозный дядя в репродукторе. И вообще, было совершенно непонятно, почему, когда он говорил, мы должны были молчать, сидеть тихо, не шуметь и слушать. Что именно он говорил?

Из всего огромного словесного потока, лавиной обрушившегося на наши уши, я уловил только несколько слов. И то лишь потому, что они относились к известным мне животным. Почему-то их очень ругали и обзывали по-всякому. Так, собаки были "бешеными" и "потерявшими стыд и совесть", свиньи – "неблагодарные", акулы какие-то там "капиталистические".

Только много – много лет спустя я сообразил, что тогдашний строгий голос в черной тарелке принадлежал Главному обвинителю на троцкистско-бухаринском судебном процессе Генеральному прокурору Советского Союза Андрею Януарьевичу Вышинскому, а «бешеными собаками» и «грязными свиньями» были фашистские наймиты и подлые гадины Троцкий, Бухарин, Рыков, которых яростно осуждали все честные советские люди. В том числе и очень знаменитые, выступавшие по радио и писавшие гневные письма в газеты:

Троцкистско-бухаринские банды, это отребье человечества, задумали, подготовили и совершили злодейское убийство Сергея Мироновича Кирова, убили Максима Горького, великого русского писателя. Мы помним гнусную физиономию неблагодарной свиньи Бухарина, мы помним с какой злобой он обрушился в дни съезда писателей на всю советскую литературу, на весь советский народ. Мы заявляем суду, перед которым предстали эти потерявшие стыд и совесть троцкисты и бухаринцы: никакой пощады фашистским наймитам. Мы требуем от советского суда беспощадного приговора бешеным собакам фашистским наймитам. Мы уверены, подлые гадины будут уничтожены.

Соболев, Панферов, Вс.Иванов, Новиков-Прибой, Фадеев, Сельвинский,
Вишневский,...

(Союз писателей)

Мяковский, Хачатурян, Шебалин, Чемберджи, Белый,...

(Союз композиторов)

Яблочкина, Москвин, Садовский, Блюменталь-Тамарина, Е.Гельцер

(Всесоюзное Театральное Общество – ВТО)

Газета «Советское искусство», 3 марта 1938 года

И еще:

Народный артист СССР А.Остужев

Велик гнев нашей страны

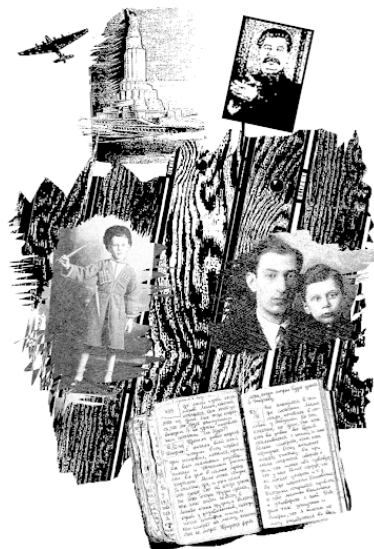
Народный артист СССР М.Рейзен

Раздавить гадину

Скульптор С.Меркулов

Нет меры народному гневу

Глава вторая ЗЕЛЕНЬИЙ ЗАБОР



ТАЙНА ДЕРЕВЯННОЙ ОГРАДЫ

Это был очень высокий, очень плотный, очень загадочный Зеленый забор. Он был сделан из широких толстых шпунтованных досок, плотно сбитых гвоздями с большими вафельными шляпками. Этот забор наглухо отгораживал наш детский мир от всей прочей взрослой цивилизации.

В то время моя жизнь почти целиком состояла из всяческих запретов. Мне нельзя было ложиться спать после 10 и вставать раньше 8, уходить далеко от дома, даже на соседнюю улицу, и, тем более, нельзя было бегать на пруд, хотя именно этого особенно очень хотелось. Чего только еще я не смел тогда делать!

Все эти ограничения казались несправедливыми, обидными, однако они были неизбежны и потому понятны. Но вот Зеленый забор...

Его тайна всегда оставалась неразгаданной, непостижимой, вечной. Самые высокорослые "дяди Степы" не могли заглянуть за деревянную стену, самые всезнающие знатоки не знали, что скрыто Там. На всем своем протяжении забор нигде не имел ни одной даже самой крохотной щелочки, а его нижняя часть, казалось, уходила так глубоко в землю, что не оставляла никаких вариантов.

Мой довоенный детский быт был тесно связан с этим забором. По утрам я ходил мимо него с дедушкой в магазин или на рынок, вечером вместе с другими ребятами играл здесь в салочки, прятки, колдунчики, городки, фантики. Здесь, когда грянула война и мы уезжали в эвакуацию, я зарыл под черносмородиновым кустом большой клад, куда в картонной коробке из-под обуви спрятал все свои самые главные драгоценности: пять оловянных солдатиков, деревянный кортик с ножнами, камень – "сверкач", черный жестяной пистолет и осовиахимовский значок.

Нас было трое мальчишек, живших поблизости. Из всех я, пожалуй, был главным "утопистом". Когда мы уставали от наших бурных вечерних игр и, набегавшись, устраивались на корточках у забора, удобно прислонившись к нему спиной, я начинал плести небылицы, полные драматизма и фантастики.

Я так увлекался, что забывал о присутствии слушателей. Воображение рисовало удивительные картины, в которых мои обширные познания в геологии, ботанике, спелеологии причудливым образом смешивались с разными сюжетами известных мне сказок и историй. Стараниями моих интеллигентных родителей я был начинанным ребенком, хотя читать еще не умел.

Я видел себя впереди разведывательного отряда, который после долгих поисков нашел потайной лаз в малиннике. Пробравшись сквозь кусты, мы обнаруживали таинственный люк, открывали его и начинали спускаться по крутой каменной лестнице в подземелье. Конечно, я шел впереди. В одной руке у меня был яркий электрический фонарь, как у шахтеров, в другой – длинноствольная скорострельная винтовка. Спустившись по лестнице, мы попадали в начало длинного узкого хода, который как раз и вел Туда. Мы долго шли по скользкой бугристой дороге, делали зарубки на мокрых замшелых стенах, с трудом преодолевали крутые подъемы и спуски. И вдруг мы оказывались в большой мрачной пещере. В одном из ее углов была дверь, закрытая занавесом с нарисованным очагом. Конечно, таким, как в доме папы Карло. Я смело шагнул вперед, схватывал занавес обеими руками и тянул его на себя. Матерчатый очаг трещал и лопался. А сверху вдруг раздавалось приглушенное злобное рычание. Прямо на меня ползла страшная крыса Шушара.

Обычно в подобных этому местах мое воображение сбавляло ход, буксовало и где-то глубоко в подсознании срабатывали чуткие, но крепкие стражники – тормоза. Я замолкал.

ЦИКЛОПИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛИ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

В другой раз я оказывался командиром стратостата, покоряющего необъятные высоты голубого океана. На мне был круглый гермошлем с надписью «СССР», точно такой, как у тех «сталинских соколов», которые в то время почти каждый день сверкали белозубыми улыбками на первых страницах всех советских газет и журналов. После благополучного перелета через Зеленый забор мы на огромных золотистых шелковых парашютах смело прыгали вниз и опускались на землю там, где это было нужно.

Иногда стратостат замещался самым большим в мире восьмимоторным самолетом АНТ-20 "Максим Горький", который тогда делал показательно-экскурсионные полеты над Москвой. Моя мама, работавшая в те годы в ЦАГИ (Центральный Аэро-Гидродинамический Институт), тоже была награждена билетом на один из таких полетов. И надо же было такому случиться, что именно в тот день я заболел ветрянкой, и ей пришлось сдать билет обратно в Профком.

– Мой сын меня спас, – говорила она позже.

Как раз тот полет был для "Максима Горького" последним – столкнувшись с другим самолетом, он потерял управление, упал и разбился, унеся жизни восьмидесяти пассажиров.

«Максим Горький» был не единственным гигантом-выразителем эпохи строящегося социализма. Еще более одиозную затею предполагалось претворить в жизнь на берегу Москва-реки. Здесь должна была почти на полкилометра взвиться к небу белая пирамида «Дворца советов» – новой архитектурной доминанты столицы мирового коммунизма. Рекорд нью-йоркской статуи Свободы побивал гигантский стальной Ленин, в голове которого помещался зал заседаний, а в пальцах вытянутой руки – смотровые площадки.

Однако, выше заложенного еще перед войной фундамента это циклопическое сооружение так и не поднялось. Строительство было остановлено, потому что в воспаленном воображении Вождя вырел образ диверсанта, прильнувшего в ленинской длани к оптическому прицелу винтовки, направленной на Кремль.

Осуществление проекта века, повидимому, не состоялось еще и по другой причине. Дворец Советов возводился на месте взорванного перед этим огромного храма Христа Спасителя, который в свою очередь сменил стоявший здесь и тоже снесенный женский монастырь. Настоятельница монастыря, как говорит легенда, прокляла это место на Москворецкой набережной, предсказав, что, кроме болота, тут ничего стоять никогда не будет.

Не потому ли на заложенном еще перед войной фундаменте Дворца Советов по инициативе Хрущева в 60-х годах был разлит открытый плавательный бассейн «Москва»? И долго ли простоят ельцинско-лужковский новодел – храм Христа Спасителя, построенный на том же трухлявом сильно обводненном известняке, лежащем в его основании? Ведь относительно необходимости восстановления этого храма высказывалось не меньше сомнений, чем по поводу Дворца Советов. Его сооружение вызывало немало споров. Вот хотя бы два довольно забавных письма, направленные в 1939 году Молотову.

Дорогой Вячеслав Михайлович!

Вы являетесь председателем комиссии по постройке Дворца Советов и почему-то медлите сообщить, что стройка попала в тупик.. Экспертная комиссия не оказалась жизнеспособной. Архитекторы Иофан, Гельфрейх и Щуко взяли на себя труд этой комиссии, а авторско-творческая проработка

взвалена на плечи молодняка-архитекторов. Они ужасаются взваленной на них ответственностью. Молодежь пришла в отчаяние, она думает, что вся эта затея кончится отсидкой в НКВД. А время обнаруживает дефект за дефектом в задуманном проекте.

Сообщу вкратце:

1. Прежде всего, срок создания такого колоссального здания в такой срок нелеп и невозможен. Пантеон строился 50 лет, Нотр Дам в Париже 300 лет, Исаакиевский собор – 100 лет. Разумеется, Дворец Советов, при всем желании, не может быть построен за 5 лет.

2. Здание – большей и лучшей своей частью будет погружено в вечный мрак. Вместо пронизанного светом и воздухом здания, должно быть выражением нашей счастливой радостной жизни – явится, наоборот, крематорием. Самая большая зала должна освещаться электричеством, и подсчет электриков-инженеров выяснил, что если зал будет освещаться только, как в метро, то пойдет на него электроэнергии столько, сколько тратится на всю Москву. Во сколько же обойдется эксплуатация всего здания?

3. Выявлено, что зритель на расстоянии 100 метров не увидит величественную статую тов. Ленина, которая по словам ее создателя тов. Меркулова, должна «вдохновлять своею мощью каждого гражданина, идущего на работу». Затем, по-моему, пришло время удивлять свет пирамидой Хеопса, а именно, в большом зале должны быть поставлены шедевры искусства – статуи тт. Ленина, Сталина и Ваша, как выразителя задуманного.

4. Статуя из нержавеющей стали не будет видна на облачном небе.

5. Рука Ильича, равная 4 метрам, в зимнее время будет подвергаться обледенению сосульками, которые как раз будут падать у входа во Дворец и грозить посетителям ранением и не малым.

6. Увидев альбом небоскребов Америки, убеждаешься, что проект Иофана является далеко не лучшей имитацией американского небоскреба. Почему проект должен выразить стиль Сталинской эпохи антихудожественной постройкой в Америке? Не будет ли по этому поводу насмешек на американской выставке, если будет представлен макет? Почему от Вас утаено, что этот проект – сколок американского небоскреба и кое-что взято от Дворца наций, здание которого общепризнано ублюдком капиталистического искусства современности.

Комсомольская молодежь хотела просить у Вас аудиенции, но будет лучше сделать это в дисциплинарном порядке. Вы сделаете все с присущей Вам справедливостью, тактом и глубоким проникновением в каждое дело, что мы видим каждый день в Вашем управлении громадной страной, как СССР. В Ваших руках наш Дворец Советов, он будет Вами построен, как выразитель нашей эпохи.

С пламенным коммунистическим приветом –
Батурина, член партии с 1906 года.

И еще одно письмо:

«Председателю совета строительства Дворца Советов лично Молотову В.М. от техника-строителя Баканова Н.И.»

Я очень люблю прочитывать печать, где описывают про строительство Дворца Советов. У меня в то время, когда я пишу Вам это письмо, «Спутник агитатора» №9 за май 1939 г. В этом «Спутнике» я узнаю кой-что об истории будущего Дворца Советов.

Дворец Советов будет одним из крупнейших сооружений на земном шаре, высота его будет равна 416 метров, я задался мыслью. Вес Дворца Советов равен 1,5 миллиона тонн, одежда его будет из светлосерого гранита, который добывается в Кавказских горах. Мы знаем, что мы должны строить быстро, хорошо и дешево.

У меня зародилась мысль Мыслью этой я хочу поделиться с Вами. Мы крепки и мы должны показать всему миру, как мы можем строить.

Я вношу предложение: перевезти весь строительный материал нашей могучей авиацией, и самое главное – это материал – одежду Дворца Советов светло-серого гранита из Кавказских гор. Там где-то далеко от сердца Родины Москвы, в Кавказских горах, добывается одежда для сердца всего человечества мира, для строительства Дворца Советов.

Одежду эту доставляют молодые сокола по воздуху на самолетах. Караваны самолетов по заданию Совета Строительства без усталости днем и ночью выполняют свое задание, прибывают с одеждой на стройку, где их встречает на высоте 200 – 300 метров резиновый ковер. Караваны самолетов пролетают над резиновым ковром, оставляя позади части тела одежды и снова улетаю в Кавказские горы. Резиновый ковер по своему телу поглощающий толчки сил сброшенных караванами самолетов, не дает ни малейшего последствия на строительство. "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Прошу Совет строительства сообщить мне, что можно сделать, тогда, когда это в руках большевиков.

А ТАМ НИЧЕГО НЕ БЫЛО

Мой лучший друг тех времен, Марик, тоже был мечтателем и фантазером. Однако в отличие от меня он в своих представлениях был чистым технократом и видел мир одетым в легированную сталь, алюминий, бетон.

Марикин путь **Туда** начинался с оптических приборов. Его перископы, установленные в специальном бронированном блиндаже демонстрировали яркие, расцвеченные всеми красками картины. На большом зеленом поле сверкали в лучах солнца белоснежные скаты диковинных самолетов. Они были похожи на огромные крылатые дирижабли со светящимися носами – пиками, от которых в разные стороны расходились радужные круги. На фюзеляжах воздушных кораблей атели большие пятиконечные звезды, а на пологих скатах серебристых крыльев крутились изящные синие пропеллеры. Это была страна крепостей с батареями дальнобойных орудий и торпедных аппаратов, это было государство стратостатов, подводных лодок и аэропланов-бомбардировщиков.

Третьим фантазером был Ленька, большеголовый шустрый мальчишка, который считался у нас большим воображалой. Однако его воображения были совсем неромантичными. Например, он показывал всем простое «86-ое» перо и уверял, что оно из самого Кремля и им писал сам всесоюзный староста дедушка Калинин.

Ленька отличался деловым и суетливым характером. Он был неутомимым, вечно что-нибудь придумывал, куда-то спешил, всегда был занят. Наслушавшись наших сказок, он как-то предложил:

– Эй, вы, братья Гриммы, ладно вам завирать, давайте дело делать. Женька, самый сильный, пусть станет внизу. Марик сядет ему на шею, а я влезу Марику на плечи и достану до самого верха.

С этой программой Ленька носился довольно долго, однако идея медленно "овладевала массами". Нам трудно было переключиться на конкретное дело, которое, как мы подсознательно чувствовали, может приземлить Мечту или даже убить ее.

И все-таки любопытство оказалось сильнее.

Стоял теплый сентябрьский вечер, солнце уже заходило за кроны лохматых сосен, и мы под укровом высоких кустов малины готовили свою экспедицию. После долгих споров было условлено, что операция проводится три раза с таким расчетом, чтобы каждый участник по одному разу мог взглянуть **Туда**. Ленька, как инициатор предприятия, выторговал себе первый заход.

Бывают в жизни какие-то, может быть, и не очень уж важные кратковременные ощущения, которые почему-то не забываются никогда.

Кажется, я и сейчас чувствую, как сильно впиваются мне ножами в спину острые подошвы марикиных сандалий, как душат, больно сжимая шею, его грязные покрытые ссадинами колени. Я не помню, чтобы когда-либо позже мне пришлось испытать такую сильную физическую нагрузку, хотя, конечно, не раз приходилось поднимать, даже с учетом возраста, куда более тяжелые грузы.

Не знаю, сколько на самом деле все это длилось (мне, конечно, тогда показалось, что прошла целая вечность), но, когда я пошевелился, чтобы посмотреть наверх и узнать, что там Ленька так долго возится, произошло нечто непредвиденное. Вся наша неустойчивая конструкция вдруг пошатнулась, меня резко рвануло куда-то назад, затем раздался оглушительный крик, и ленькино тело упруго шлепнулось о плотную глинистую землю.

Он сидел, прислонившись к забору и обхватив руками коленку, с которой сползала по ноге узенькая струйка крови. Из его глаз, собирая пыль со щек, текли грязные капли слез. Мы помогли ему подняться на ноги, а потом повели домой, заботливо поддерживая за руки с двух сторон.

Ленька хромал целую неделю, хотя в конце ее, мне кажется, больше притворялся. На наши настойчивые вопросы: "Что **Там**?" он отвечал односложно: "Ничего **Там** нет". И вообще вспоминать эту историю не хотел. Нам с Мариком показалось, что он стал даже избегать нас.

Однажды мы поймали Леньку возле моего дома и прижали к стенке:

– Говори честно, – потребовал я, – только не ври, ты ведь до верха не достал?

– Чего вы пристали, – отвел тот глаза в сторону, – я же вам говорю: ничего там нет, просто пустырь, свалка. Лежит один мусор какой-то, тряпки, склянки, бутылки. И все.

Он вырвался из наших рук и убежал.

Это было слишком неправильно, чтобы быть правдой. Наверно, Ленька врет. Пусть **Там** не будет сказочной страны сказочного Буратино, пусть не будет дирижаблей и линкоров, но **Что-то** же **Там** должно быть. Иначе – быть не может, не должно. Иначе – рушится весь мир, разваливается какая-то его главная суть, теряется смысл всей жизни.

Конечно, мы не могли Леньке верить, не хотели, поэтому и не верили. Экспедиция, без сомнения, должна была быть повторена. Вероятно, мы добились бы своего, и осуществили до конца свой замысел, если бы не сверхчрезвычайные события, которые перевернули всю нашу жизнь.

"22 июня, ровно в 4 часа

Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началась война."

. Прошло с тех пор много, много лет. Пронеслись годы, прошла целая эпоха. И вот волей случая, а, может быть, специально, приехал я снова в этот старый патриархальный поселок. Я вышел на центральную площадь, раньше казавшуюся такой большой, а теперь оказавшейся такой маленькой. Я обогнул тоже потерявший свою высоту двухэтажный магазин «Продукты – Промтовары» и зашагал по знакомой улице, обсаженной тополями. Теперь она была асфальтирована, и по ней сновали машины.

Я прошел несколько коротких кварталов. Остановился. Что это? Вместо домов – развалины. Обломки бревенчатых стен, хлопающие на ветру обрывки обоев, рваные листы старого кровельного железа.

Сердце мое екнуло – на месте нашего дома тоже громоздились кучи битых кирпичей. Я опоздал.

Груды обломанных досок, голый остов облезлой разрушенной печки с закопченной трубой, густой слой штукатурной пыли. Кажется, вот здесь была наша комната, вот там стояла большая пружинная кровать и швейная машина на чугунных ножках – львиных лапах. А рядом была комната бабушки с дедушкой, там на стене висели жестяные часы – ходики, а в углу стоял массивный старинный буфет с цветными стеклами на дверках. Мне стало очень грустно и защипало глаза.

Развалины тянулись по обе стороны улицы. Мой взгляд пробежал по грудам бревен, досок, по кучам строительного мусора и вдруг споткнулся о решетчатую стрелу подъемного крана. Я прошел еще немного и вздрогнул от неожиданности. Вот чудо!

Среди общего разгрома, среди развалов бревенчатых и кирпичных домов стоял, как и раньше, наш старый добрый Зеленый забор. Конечно, он был уже не таким высоким, не таким плотным и даже не таким зеленым. Он покосился, в некоторых местах совсем упал на землю.

Часть его досок было разбито, кривые ржавые гвозди жесткой щетиной торчали на прогнивших перекладинах.

И все же наш Зеленый забор был, он существовал, на зло беспощадному времени. И не где-то там в уголках памяти, в снах, а здесь, наяву. Его можно было потрогать, снова ощутить теплую шершавую неровную поверхность крашенных досок.

Я зашел за забор, туда, где начинался большой пустырь – наше первое детское разочарование. В конце пустыря поднимался под гуськом башеного крана белоснежный корпус нового многоэтажного дома с ровными прямоугольниками окон и балконов. И дальше за ним почти до самого горизонта росли разнокалиберные кубики новостройки. Ярко сверкали на солнце пологие скаты оцинкованных крыш, и тавры телевизионных антенн высились над ними. На месте нашего старого одноэтажного поселка строился новый большой городской микрорайон.

Я повернул назад и направился к обломкам прошлого, к старому забору, к разрушенным стенам моего довоенного детства. Ну конечно, только здесь, где встретились в пространстве и времени, связались в один узел прошлое и настоящее, только здесь можно оторваться от той узенькой щели, через которую человеку отроду дано смотреть на мир.

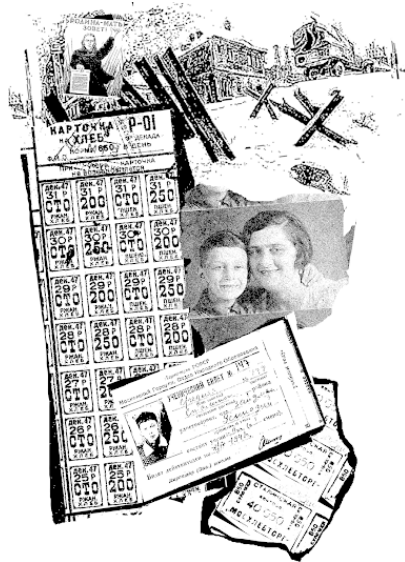
Я подошел к завалам стен и перекрытий, коснулся рукой шершавых обгорелых кирпичей на печной трубе и прижался щекой к косяку обломанной двери. И вдруг все вокруг изменилось. Низкое облачное небо опустилось на верхушки деревьев, на крыши полуразрушенных домов. Потемнело, исчезли очертания строящихся зданий, откуда-то снизу, из земли, распространился какой-то странный мерцающий свет, который с каждой секундой становился все ярче. В его радужном сиянии возник новый сказочный мир.

В нем удивительно смешались разные времена года. Рядом с буйно цветущими багровыми пионами истекал ручьями большой сугроб белого снега, возле поникшей ивы с пожелтевшими листьями зеленел густой куст смородины и расцветала нежными алыми бутонами роза-рогоза. Я с волнением и страхом подошел понюхать цветок моего далекого детства, протянул руку, чтобы его сорвать. Но тут сразу все снова поблекло, на низком небе появились те же вечерние облака, сквозь которые уже начали просвечиваться редкие желтые звезды.

– Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? – вывел меня из забытья тонкий детский голос. Рядом стоял мальчик – прохожий. Что-то неуловимо знакомое было в его худенькой фигуре, удлинённом бледном личике и короткой довоенной стрижке с треугольной челкой шатеновых волос.

– Без пятнадцати десять, – ответил я ему, взглянув на часы, и зашагал к железнодорожной станции.

Глава третья ВОЙНА, ЭВАКУАЦИЯ



ДЕТСТВО, РАЗЛОМАННОЕ ПОПОЛАМ

Утро того воскресного дня было солнечным и теплым. Над дачным поселком уже поднялось раннее июньское солнце и било в глаза прямой наводкой. Мы завтракали на террасе за длинным дощатым столом, и мама время от времени проводила со мной воспитательную работу:

– Не чавкай, ешь с закрытыми губами. Помнишь, я тебя учила? Вот посмотри, как надо. И не ерзай на стуле, не вертись, ешь спокойно.

Но я не мог не вертеться, так как с улицы несся призывный клич:

– Женька-а-а! Выходи-и-и!

Это – Вольтик, с соседней дачи.

Вообще-то я был домашним ребенком, и млел от удовольствия, когда **все дома** (хотя дома, как и сейчас, была только одна мама). Но в данный момент мое сердце принадлежало не ей.

Наконец, я домучил яичницу и вырвался на свободу. Вольтик щелкал курком своего черного жестяного пистолета и бил в нетерпении ногой по нашей калитке.

– Пх-х, пх-х, – стрелял он, – Ура! Война!

Во всех играх он любил командовать и всегда назначал себя главным. Поэтому на сей раз я поспешил опередить его и громко закричал:

– Чур, я – красный. Беги, а то догоню, у меня тачанка и пулемет.

Вольтик перестал стрелять, и, прыгая зачем-то на одной ноге, подскочил ко мне вплотную. Глаза его горели, он был возбужден и задыхался от переполнявшего его восторга.

– Дурак ты! – закричал он громко. – Взаправдашняя война началась! С настоящими фашистами. С немцами. По радио только что передавали. Мой папа сам слышал.

Я не совсем еще понял в чем дело, но мне, конечно, было обидно, что о такой прекрасной вещи Вольт уже знал, а я нет. Опять он меня обставил. На всякий случай я выразил сомнение:

– Врешь ты все. Моя мама все знает, уж она-то сказала бы мне.

Вольтик с глубоким презрением смерил меня взглядом сверху вниз и поднял ладонь ко лбу, как пионер, каковым ему предстояло стать еще нескоро.

– Честное октябренское слово! – сказал он торжественно. – Честное ленинское, честное сталинское, честное слово всех вождей!

После такой серьезной клятвы мне ничего не оставалось, как поверить Вольтику и еще раз признать его верховенство.

Увы, очень скоро все подтвердилось: война действительно началась и стала стремительно набирать темп.

Это она все изменила в моей счастливой довоенной жизни, расколола детство пополам.

Потом была первая ночная тревога. Оглушительно гудели сирены, хлопали входные двери в квартирах, громко кричали дежурные, сгонявшие жильцов на лестничные клетки, надрывно плакали дети. Дрожа от холода и страха, сонные, завернутые в одеяла, мы спустились в низкий сырой подвал нашего дома. Больно стучаясь головами о проходившие повсюду трубы, мы протиснулись в темный пахнущий плесенью угол и долго сидели там, согнувшись, на узких наскоро сбитых грязных пыльных скамейках.

В эвакуацию мы ехали в деревянном дырявом вагоне-теплушке, который то прицепляли, то отцепляли к тому или иному железнодорожному составу-товарняку. Перевозил ли он беженцев и раненных в заволжские города и села, или вез на Урал и в Сибирь оборудование какого-

либо машиностроительного завода, все равно тащился он на восток медленно, нудно, с долгими многодневными остановками.

Стояла сильная жара, продукты, взятые из дома, быстро портились, и мой слабый желудок не выдерживал сурового испытания. Ехавший в нашем вагоне с детьми школьный учитель подшучивал над моей мамой:

– Вы, мамаша, не усердствуйте, воздержитесь кормить бедного мальчика, ведь сейчас в нашей повестке дня более сложный вопрос, как бы "минус поесть", чем просто поесть.

Действительно, эта проблема серьезно озадачивала неприспособленных к такого рода трудностям городских мам и бабушек, которые изо всех сил старались помочь своим мучившимся животами детишкам. В ход шли кастрюли, сковородки, тарелки, даже стаканы, и в вагоне стояла страшная вонь, особенно на многочисленных стоянках, когда вагон не продувало.

Дольше всего мы стояли на станции Кинель, где наш вагон загнали в тупик. Здесь на вокзале я впервые увидел плохо говоривших по русски и непривычно одетых мужчин, которые в такую жару носили черные костюмы, пальто и шляпы. С ними было несколько стройных кудрявых девушек в красивых цветастых платьях и ярких золотистых, вишневых и черных туфлях-лодочках на высоких каблуках. Как-то раз мы видели, что одна из девушек подошла к стоявшей на перроне местной тетке с мешком и сняла с себя эти свои лодочки:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.